

СОДЕРЖАНИЕ

Армия	14
«Московский комсомолец»	68
Армия. Станица Николаевская	82
Новый год в октябре	95
Чурбанов	116
«Человек и закон»	130
Таганка	153
Москва. 1983 год	164
Баку	180
Рига	205
Эпоха видео	210
Квартирный вопрос в СССР	217
Возвращаясь к «перекрестку»	236
Старая площадь	255
Друзья и подруги	263
И снова — кино!	274
Индия	288
Суета сует	302
Надежда умирает последней	309
Золотухин Валерий	323
Калязин и окрестности	337
Братья Вайнеры	358
Сухой закон	371
Возвращаясь к Высоцкому	382
Дверь в новую жизнь	393

«Когда состарюсь, издам книжонку...»

В.Высоцкий, «Письмо из Парижа».

**Жизнь надо прожить так, чтобы было,
что вспомнить. Но стыдно рассказать...**

**«Древние греки не знали,
что когда-то станут древними греками»**



— Ну-с, начнем с Высоцкого, — нейтральным тоном молвил Любимов, окидывая рассеянным взором собрание сидевшей в зале труппы Таганки. Одет он был в свитерок грубой вязки, с выпуском расстегнутого ворота рубахи — по-моему, голубенькой; седина уже изрядно пробила его густые волосы, а лицо отдавало легкой желтизной, — болел, печень.

Накануне Валера Золотухин драматическим тоном поведал мне, что у шефа хронический гепатит, что спиртного ему — ни-ни, а судьба театра вообще на волоске из-за недомоганий обожаемого мэтра. В этом же контексте он сообщил об обострении язвы желудка у Высоцкого, общем плачевном состоянии его здоровья, так что все выходило плохо, тревожно и туманно.

Валера всегда был склонен к паникерству и к пессимистическим выводам, но в ту пору я, семнадцатилетний придурок, проникался его мнением, как истиной в первой инстанции, да и вообще доверял ему бесконечно. Именно он уговорил Любимова взять меня в театр в качестве гитариста и актера в массовку без театрального образования, в расчете на оное в дальнейшем. Валера — мой названный старший брат. Эта роль ему нравилась, а уж мне — тем более. В далеком семидесятом наши лица были неуловимо схожи, и легенда в недрах театра проходила «на ура», тем паче, автором и инициатором ее был сам каждодневно набирающий очки народной славы артист. Впрочем, история о нашем братстве с ее началом и финалом — это история отдельная, и будет изложена ниже, в моем первом опыте в бессюжетной мемуарной прозе. Интуитивно ориентируюсь на своего учителя, Валентина Петровича Катаева с его «Алмазным венцом», однако в его готовый

трафарет уместаться не собираюсь и изысков высокой прозы в этой работе сознательно избегаю — пусть будет так, как Бог на душу положит — прямоиком, просто и, постараюсь, — честно. Также не собираюсь наивно шифровать всем известные имена выдуманными милыми прозвищами и подражать манере его «мовизма», которым был очарован в юности, но к которому, увы, равнодушен ныне. Юная душа иначе воспринимает все новшества и все необычное, с возрастом мы черствеем и в итоге становимся невозмутимыми и крепкими, как просроченные пряники.

Итак, вернемся к закуливному театральному мероприятию производственного толка.

— Начинаем с Высоцкого в очередной раз! — вслед за Любимовым повторил директор театра Дупак, скопившись на популярного актера и менестреля, сидевшего на крайнем кресле в первом ряду.

Менестрель, несмотря на свою оглушительную популярность в массах, в этих стенах был всего лишь служащим человеком, подчиненным и режиссеру, и уж, конечно, ему, директору. Иерархия административной театральной вертикали: «режиссер-директор», на сей момент уподоблялась двум орлам крамольного в те годы российского герба, раскрывших клювы возмездия над непокорной главой прогульщика и пьяницы — всесоюзного, что сквозь зубы признавалось и недоброхотами, значения. Недоброхоты, впрочем, уповали на временность славы менестреля на то, что власть-де, да прищучит вольнодумного песнопевца, и ее отеческая снисходительность к заблудшим в своей наглости персонажам из богемы — до поры. В закономерном же итоге воздастся всем шагающим не в ногу, а потому в неотвратимости кары не следует заблуждаться никому.

Впрочем, и родственники менестреля, а именно отец и мачеха, будучи в окружении близких приятелей, а именно моей маман, с ними дружившей, вздыхали на вечерней кухне, чему был свидетелем, подслушивая из коридора:

— Да все это скоро пройдет: песенки, почитатели, слухи о нем... Сама слышала: один дурак убеждал другого, будто Володя отсидел десять лет! Другой говорил, что пятнадцать! Подойти, объяснить им, кем я ему прихожусь? Это значит — им уподобиться!

— Сам образумится! — следовал отклик. — В конце концов, на нем дети, Люся; надо думать о карьере, сыграть что-то героическое, серьезное, чтобы комар, как говорится...

— Кто ж ему такое поручит?..

— Безобразия творим, Владимир Семенович, — констатировал Любимов, разведя руки. Был он огорченно-задумчив, но и не более, что-то, видимо, опустошенно решив для себя в отношении и к Высоцкому, и к вынужденному этому собранию, продиктованному правилам необходимых дисциплинарных мероприятий. — Итак, на повестке дня вопрос о вашем поведении, господин артист, а вернее, о фактах нарушения трудовой дисциплины, выразившихся в широко известных срывах спектаклей, пропусков репетиций... Мне даже скучно продолжать... Да вы хотя бы привстаньте, покажитесь во всей красе для соблюдения протокола...

Господин артист привстал. Обернулся на соратников по творческому цеху. Так, в полувзгляда, надменно.

Всегда поражался, как мгновенно менялся его взгляд от отрешенного или благодушного к искрящемуся весельем или же откровенно враждебному, когда в нем блистала просто сумасшедшая ярость или же холодное грозное предупреждение: прочь с глаз моих!

И ведь умел он играть этим взглядом, как ненароком показанной «финкой», из-под голенища сапога привынутаой. А где игра, там и расчет... Впрочем, расчетлив он был, за исключением некоторых изменений своего сознания, всегда. Но пьянка есть пьянка, а то изменение сознания, что необходимо актеру как навык для погружения в роль, он тоже умел контролировать жестко. Хотя порой умышленно отпускал удила и переигрывал.

Но сейчас, на этом пустопорожнем собрании, он был трезв, собран, а внешне — зол и колюч. И все было

уложено в его мозгу, сообразно ветвистости сюжета в развитии действия сегодняшнего сборища: обличений врагов с требованием изгнать из театра, с робким заступничеством друзей, с колебаниями в решениях начальства...

Все уже было... Очередной спектакль, где финал определяет лишь импровизация. Что в козырях? А то, что зритель идет сюда, на Таганку, в первую очередь на него, а уж во вторую — в авангардный театр, как таковой. Он — сердце труппы. На всех — его отблеск, как вы от него, соратники, не отмахивайтесь, как ни отрекайтесь, как ни завидуйте. Все вы им помазаны... И режиссер, и директор — тоже!

— Замечания учту, — проронил он веско. — Недопустимость некоторых своих поступков глубоко осознал. Театр мне дорог, и этим, собственно, сказано все.

— Пью, пил, и пить буду, — грустно подытожил из зала голос актрисы из стана нейтральных.

Загудели возмущенным хоровым ропотом недруги, формулируя обвинения типа: почему ему можно, а нам — нет? Недругов хватало. Еще в первые дни появления его в труппе, как мне рассказывал Борис Хмельницкий, одна из актрис, припудривая личико у зеркал гримерного столика, ответила на его ремарку о самобытности голоса Высоцкого так:

— Голос не для оперы, но вполне для пожара или ограбления.

— А вот я хочу о проблеме клептомании! — неожиданно возопил из зала Ваня Бортник, искусно перебивая обсуждение основной темы. — У меня вчера с пиджака в гримерке значок свистнули! Наш, театральный, таганский! Это что же творится, а, братцы? А если бы — портмоне? Там двадцать пять рублей, хорошо, вор посовестился... Но значок — это тоже обидно, знаете ли... Но и до портмоне дело дойдет! Теперь свои кошельки и все прочее с собой на сцену таскать надо?!

— Значок я вам выдам, — отмахнулся Дупак. — Вы перебиваете основной вопрос...

— Да, теперь у нас второй вопрос, — потряхнув своей породистой поседелой гривой, молвил Любимов. —

Причем, замечу, касающийся всех без исключения, поскольку с курением и мусором за кулисами ситуация вопиющая, и вместо творческой работы мне приходится выслушивать нотации от всякого рода административных инстанций...

Пусто и скучно стало в зале... Явственно ослабла всеобщая энергетика творческого коллектива. Ожидание разноса менестреля не оправдалось, да и сам он слинял под шумок за портьеры, но, точно, обретался еще здесь, в гримерках, мол, если чего я с передовой лишь временно по нужде, а коли нужда во мне — вот и опять я, смиренный — корите, позорьте, трезвоньте, готов ко второму отделению аутодафе; только гаркните через служебные репродукторы: «Артист Высоцкий, вернитесь в зал!» — и вот он, артист, готовый на очередную взыскательную потеху...

Да уж нет, вышел пар, оравнодушилось общество, спал градус, как в стакане с недопитой с вечера водкой... Но тут пошла потеха другая, органически-жизненная, сермяжная, сравнимая разве с импровизациями того же Ивана Бортника в «Живом», когда публика на артиста через день ходила, ибо в каждом спектакле выдавал Иван Сергеевич все новые и новые «пенки», да какие! Изящнейшие «самоволки» он умел устраивать из любой роли! И... ничего не осталось в истории. Ни то, чтобы кадра узкоплечного, даже блеклого фото, ибо, думали: да все навечно, что сегодня, то и вчера, то будет и завтра... Как и собрания труппы на предмет дисциплинарных выговоров. Однако эта потеха в истории чудом осталась, ибо у актрисы Нины Шацкой диктофон по случаю в сумочке оказался, и записалась речь ответственного театрального пожарного Николая Павловича:

— Я хочу еще раз напомнить о культуре быта. Я с этими рычаниями выступаю на каждом собрании, но результаты пока не видно глазом. Хотя бы для того, чтобы не выступал я, пора повернуться к этому вопросу на сто девяносто градусов. Вот вчерась на обходе помещения вижу, волос наstryган, женский, наstryган волос у женщин в гримерных и везде разбросан,

по-моему, сознательно настрыган и разбросан нарочно! Волос преимущественно черный, отсюда вывод: брутетки безобразничали, их у нас несколько, можно легко установить, кто это наделал. Бывает, когда в супе случайно волос попадает даже свой, и то я уже не могу такой суп есть, в унитаз его сношу. А тут в таком количестве женский волос... в культурном учреждении! Товарищи! Стрыгитесь же в одном месте... А Таню Сидоренко с ножницами я точно в гримерке видел!

— Мы — публичные женщины! — донеслось из зала возмущенно. — И должны держать себя в форме при обзрении нас массажи!

— Второй пункт — курение. С курением у нас очень плохо. Немного, правда, легче стало — Клим ушел (Клименьев). Тот не признавал никаких законов, курил, где хотел, и не извинялся. Хотя и дорогие сигареты «Марлибр». И еще — «Самец», с иностранным верблюдом. (Видимо, подразумевался «Camel»). Где их брал — вопрос. Теперь Клим нет, но его заменили, как по призыву, несколько, в том числе — Маша Полицеймако. Я не понимаю таких женщин. То есть, головой понимаю все, умом — нет! Женщина — такое существо! И вдруг от нее при целовании будет разить табаком, да как же тогда ее любить прикажете? А Маша курит много и всюду нарушает правила безопасности. Далее. На собрании больших пожарных города Москвы было сообщено о пожарах в количестве пятисот штук, по анализу причин загорания — от курения. Часто загорания начинаются в карманах: курит в неподобающем месте, меня увидит, и в карман папироску — и горит потом целый театр или того лучше — завод!

Товарищи! Партия призывает нас к бдительности в сбережении социалистической собственности. За последние два дня полетело от безобразий братвы — артистов — четыре стула по сорок два рубля, четыре урны фаянсовых. Вопиющее безобразие наблюдалось в четвертой мужской комнате: переработанный харч в раковине, и это засекается мной не первый раз. Напьются, понимаешь, до чертиков, и не могут домой донести, все

в театре оставляют. Уборщица жалуется, убрать не может, ее самую рвать начинает. Понимаю: тут и с железными нервами не справиться, это вам не шубу в трусы заправлять! Предупреждаю! Кого засеку с курением — понесут выговорешники тут же, а в дальнейшем буду неутомимо штрафовать преступников, как ГАИ»

Эх, иметь бы тогда современный телефончик со встроенной камерой, что сейчас у каждого школьника... Увы, такой телефончик на том собрании уподобился бы несусветному волшебству. Но даже на допотопную камеру никто ничего не снимал. Если только фрагменты из спектаклей с согласованием в инстанциях. А снимать ту театральную Таганку стоило едва ли ни каждый день, во всех ее закоулках, и осталось бы тогда золотое наследие и самого театра, и его времени. Сохранившиеся фрагменты — так, шелуха. А зерно истины — только в неверной памяти уже немногих оставшихся.

А вот и Высоцкий тем же вечером, стремительно вышедший со сцены в закулисье, на первый этаж артистического закутка, где под потолком и вдоль стен тянулись трубы тепло и водоснабжения, плюхнувшийся в огромное дерматиновое кресло, разгоряченный, с алым лицом, одетый в трико и «чешки», кожаные тапочки на резинке в подьеме стопы, для улицы легкомысленные и непрактичные, для домашней — тесные и неудобные, однако широко используемые гимнастами и самбистами.

— В этот день берут за глотку зло, в этот день всем добрым повезло... — пропел он себе под нос часть куплета, только что исполненного им на сцене в «Добром человеке из Сезуана».

Я, сидевший напротив, куражась, допел продолжение, попадая в его интонации и тембр...

Он выслушал, качнул головой усмешливо.

— Я вижу, как ты поешь на сцене, — погрозил мне пальцем. — Ты работаешь под меня... Это плохо, избавляйся, ищи свое. И запомни: природа не терпит повторений!

Я запомнил.



Выхожу из служебного входа-выхода Театра на Таганке семидесятых. Захлопнулась дверь. За ней — тетя Зина — вахтер и, одновременно, заведующая артистической гардеробной. Номерки, правда, никому не выдавались, артисты вешали свои пальто и куртки произвольно, однако, внезапно случился казус: однажды из гардероба было похищено чье-то пальто, причем, как подразумевалось — неким злодеем то ли из труппы, то ли из технического персонала, и расследованием занимался знаменитый МУР, так злоумышленника и не поймавший. Причем вину за утрату пальто взвалили именно что на тетю Зину, олицетворяющую на современный манер ЧОП — то есть, частное охранное предприятие, обороняющее ныне театр едва ли ни ротой, однако во времена оные, на всю оборону учреждения культуры вполне хватало одной и единственной тети Зины.

— Если из гардеробной под носом у вахтера крадут пальто, — высказался на сей счет Любимов, — это уже не театр, а цирк! С фокусами в стиле Кио...

Второй эпизод с кражей верхней одежды случился уже в основной раздевалке для публики, откуда свистнули дорогущую шубу спутницы лауреата всех государственных премий Сергея Михалкова. Ошарашенная дама блуждала по фойе, разводя руками и кляня администрацию, а вслед за ней сочувственно волочился автор гимна СССР, глубокомысленно изрекая:

— Милая, а что ты хотела? Где театр, там и драма...

Вот и вышел я в мартовскую темень, вот и обернулся по пути к метро на родимый порог. Для меня это был главный подъезд Театра на Таганке — с его боковой правой стены вдоль Земельного вала. Там было место встреч артистов и их знакомых, там был большой перекур и обмен сплетнями перед спектаклем, там выяснялись отношения, зарождались и замиривались конфликты, и все это — через идущую к метро публику, косящуюся на увлеченных своим общением знаменитостей. И даже машины, скользящие по Земляному

валу, замедляли ход, а то и вовсе тормозили, и водители выворачивали головы, не веря, что видят у подъезда терпеливо выжидающего своего театрального гостя Высоцкого или Золотухина. Их лица различались изда- лека, идентифицируясь мгновенно — особенность таких черт для артиста — дар судьбы.

К тому же, тогда еще существовали киноафиши.

— Наконец-то у кинотеатра я увидел на плакате свою физиономию, намалеванную гуашью! — говорил мне Золотухин. — Это был... миг триумфа и неземно- го восторга!

И вот — его лицо во гробе, после месяца комы, будто слепленное из известки, в коросте похожего на гуашь, грима.

Но это случилось через вечность, в марте 2013-го. А в ноябре 2013-го я шел мимо этого подъезда по пути в ресторан, на свое, увы, шестидесятилетие. И остано- вился возле двери, пытаюсь вернуться в себя прежне- го, семнадцатилетнего. Увы, нет уже такого человека. Глупого, счастливого, стремящегося. Ни одной молеку- лы от него не осталось. И той озаренной театральным светом двери не было. Передо мной — железная, гру- бо выкрашенная черной краской преграда, подернутая грязью и пылью. Кажется, намертво вваренная в раму. Уже давно никто не входит в нее. Растрескавшийся приступок. Скоро его снесут, сравняют с тротуаром. А сколько раз на него ступали Высоцкий, Любимов, Воз- несенский, Евтушенко... Стоп. Продолжать этот огром- ный и скучный похоронный каталог не стоит.

Но в памяти моей все близкие мне ушедшие — су- ществуют словно бы рядом, а сейчас я иду в своем шерстяном советском пальтишке до метро Таганская, я еду домой, где тоже все живы, у меня впереди огром- ная жизнь, я думаю о ней, я пытаюсь представить, как все сложится в дальнейшем, и — напрасно! Не суждено нам ничегошеньки предугадать!



АРМИЯ

Театру я изменил. Понял: не мое... Первоначальная увлеченность и жажда актерской карьеры пропали одновременно и напрочь. Театром надо было жить, к нему надо было привязаться безоглядно, как к дому и к семье, а воздух закулисы воспринимать, как органическую необходимость, как родниковую воду, утоляющую жажду, а, может, и как наркотик. Тот же Высоцкий, что меня искренне удивляло, проводил свободное время в театре зачастую праздну, ужиная в закулисном буфете на втором этаже («Сом у них сегодня костлявый, Андрей, не бери, я чуть не подавился»), что-то писал за своим примерным столом, и я чувствовал, что дома ему явно не сидится. Марина была в Париже, отношения с бывшей женой Люсей рухнули, скатиться в очередную пьянку он опасался, а театр «держал», да и поддерживал своей извечной праздничной суетой и забавным круговоротом различной публики с ее страстями и анекдотическими коллизиями.

Недаром говорят, что в театре актер «служит», а не работает. Но эта служба, жизнь согласно расписанию собраний, спевов, репетиций, прогонов, гастролей и самих спектаклей, стала меня тяготить своей казарменной обязательностью. Главное же, меня озадачивающее, было в другом: от этого подвижничества в итоге не осталось и следа. Нет, конечно, театральное действие меняло многое в сознании зрительских масс, оно не пропадало втуне и, кто знает, как влияло на дальнейшие поступки людей и на само человеческое бытие, но актерские

труды испарялись, как талый снег по весне и ночной туман на рассвете. Они оставались лишь в кино, но не всем везло туда попасть, да еще и на значимые роли.

Меня привлекала литература, возможно, своей нетленностью даже в архивных залежах, но что я, мальчишка, мог тогда написать? Разве дневник с расчетом на будущее, дабы использовать его в качестве шпаргалки уже в зрелом писательском ремесле? Но занимали меня мысли практические, а именно: грядущая неотвратимая армия. Поступление в театральный институт от нее не избавляло, там не было военной кафедры, и все студентки в итоге оказывались голенькими перед комиссией военкомата. Откосить от повинности по медицинским показаниям я не мог, ибо в учетной карточке значилось, что я являюсь кандидатом в мастера спорта по самбо, которому посвящал три тренировки в неделю, какие уж тут недомогания? Поступить в абы какой институт, например, в МЭИ, к чему меня склонял отец, заведовавший там кафедрой наряду со своим директорством в Особом конструкторском бюро? Но меня трясло от отвращения к черчению, физике и математике... Словом, я обреченно решил, что, коли армии не избежать, значит, придется сходить на два года в солдатчину.

В военкомате меня приписали во внутренние войска. О жути тамошней службы я не ведал, беспечно полагая, что охранять важные государственные объекты, как мне объяснили специфику службы в том же военкомате, гораздо интереснее, чем чистить артиллерийские пушки, сидеть в подземных бункерах ракетных войск или надраивать танки, которые не боятся грязи.

Важными государственными объектами в моем случае оказались зоны общего и строгого режима, в обилии располагавшиеся на территории Ростовской области. В охрану одной из них я угодил после полугодовой зверской сержантской «учебки», откуда вышел уже с тремя лычками на погонах и специальностью инструктора по инженерно-техническим средствам охраны исправительных лагерей. Вся философия исправления в лагерях, как я уяснил, заключалась в прививке страха перед

перспективой повторного в них попадания, хотя каждый третий зэк непременно, в силу природы и обстоятельств, за колючую проволоку, которую меня научили профессионально натягивать, возвращался, как в дом родной.

Автобус, который вез наголо остриженную когорту будущих воинов на сборный пункт, располагавшийся в бывшем здании тюремной Краснопресненской пере-сылки, проезжал в предрассветных сумерках мимо Таганки, и с подкатившей к горлу тоской я увидел здание родного театра с афишей грядущей премьеры «Гамлета», на которую, увы, мне уже было никак не попасть.

А вечером того же дня поезд уносил меня в иную казенную жизнь, страшившую своей неизвестностью. А вот и Ростов, помывка в бане, первая моя гимнастерка, и первая казарменная кровать на втором ярусе под блеклым высоким потолком... Первая солдатская «учебка».

На реальную же боевую службу я прибыл, пройдя суровое горнило подготовительного к ней этапа, чей финал ознаменовался перемещением из казарменной школы с учебными классами в «дачную подмосковную идиллию», как описали наше предвыпускное времяпровождение циничные командиры.

Зажав между ног закрепленные за нами «Калашниковы», мы тряслись от вибраций силового агрегата в затынутом брезентом кузове грузовой машины, державшей курс по широкому Ярославскому шоссе в направлении поселка Хотьково.

Уже стоял апрель, город тонул в мутной серой мороси, почернелые сугробы тянулись вдоль обочин, чумазые машины однообразным потоком обтекали наш неуклюжий грузовик, затормозивший в итоге перед палаточным городком возле учебного макета исправительно-трудовой колонии.

Макет, сооруженный в натуральную величину, в подробностях отражал бараки, вышки, заборы, контрольно-пропускной пункт со шлагбаумом и, казалось, только и ждал своего заполнения зэками.

Под предводительством одного из командиров взводов мы совершили паломничество на этот безра-

достный объект, где нам была прочитана лекция по специальности, так сказать, а после отправились устраивать свой быт в палаточные чертоги.

В палатках мы размещались по четверо; постелями служили деревянные настилы с бесформенными ватными матрацами, застеленными тонкими одеяльцами, а остальную мебельровку составляли кособокие фанерные тумбочки для хранения личных вещей. Все.

Вешалки для шинелей отсутствовали, и, как я впоследствии понял, не без умысла.

После ужина на очень свежем апрельском воздухе возле бочки с варевом неопределенного вкуса, формы и цвета, последовала команда «отбой», и мы разбрелись под брезентовые пологи, тут же уяснив, что раздеваться для сна не стоит.

Ледяные отсыревшие матрацы и подушки на дощатых топчанах, теплом человеческих тел не согревались, и спать мы улеглись в полной зимней форме одежды, то есть, не снимая шинелей, а также сапог и ушанок.

Ночью я проснулся, содрогаясь от холода. Мои соседи по брезентовому жилищу отсутствовали. Сквозь ткань палатки просвечивало оранжевое пятно недалекого костра. Там, в компании часового, охранявшего сон нашей роты, я обнаружил всю честную компанию своих сослуживцев.

Нам удалось пропарить над огнем дымящиеся густым паром шинели и сапоги, покуда не явился такой же, как мы, задубевший от мороза сержант и не разогнал нас по арктическим матрацам.

— Завтра согреетесь, партизаны! — пообещал сержант многозначительно.

Утром по зову охрипшей трубы я, сбросив с себя ровно затянутое колким инеем одеяльце, поспешил на построение, понимая, почему в армии подъем назначен на шесть часов утра. Единственное, что хочется делать в шесть утра, это убивать людей.

После переключки нам был устроен оздоровительный пятикилометровый кросс, повторявшийся затем каждое последующее утро; далее был завтрак, по